

Общая газ. - 1996. - 8 февр. - с. 9.

Минувший год оказался для знаменитого художника, драматурга, режиссера не самым удачным. Он вынужден был уйти из театра им. Образцова, куда пришел не без колебаний, прервав выгодные контракты за рубежом. На полпути к премьере прекращена работа над спектаклем «Сталинград». Нет своего жилья, все чаще достают болезни. Что дальше? Он — улыбается.

— Реваз Леванович, мне кажется, вам не дает особый философия, не всем понятная. Свой особый «гамбургский счет». Вот прошлой весной два знаменитых грузина воздвигли два памятника. Один, Зураб Церетели, — в Москве, вышиной в полторы сотни метров; другой, Резо Габриадзе, — в Одессе, памятник Рабиновичу, соразмерный вашим марионеткам...

— Я очень не хочу в искусстве и в жизни что-нибудь с чем-нибудь сравнивать. Я не был на Поклонной горе, и у меня нет мнения о памятнике, который там поставлен. Существует и такой жанр, и, наверное, по законам жанра надо и судить... Что же касается моих маленьких скульптур, то они вызваны нашим временем. Когда я увидел, как таскали свергнутые скульптуры к Дому художника на Крымском валу, я не понимал, что происходит, мне кажется, они все должны были стоять на месте. Конечно, ни один из тех памятников не был высокого художественного уровня. Но это была жизнь! Многие из них годились хотя бы для того, чтобы видеть, как не надо делать скульптуру.

— Но мой вопрос вызван вот чем. Мне кажется, для вас материальный слой культуры складывается немножко из других элементов, чем все, к чему нас приучали, — и по размерам, по масшта-

бам, и по фактуре. Из более нежных, более теплых, более пластичных частей — отчего и целое в итоге выглядит человечнее, живее.

— К сожалению, у меня нет еще таких побед, и они, видимо, мне не грозят. Но если вы зайдете в музей Пушкина, вы увидите сфинкса не больше вот этого чайника, а своим монументализмом он поражает. Значит, дело не в размерах, а в соразмерности. Вот это и есть «гамбургский счет».

Это не декларация, не философия и не политика. Это моя работа. Она имеет бесконечное количество приемов. Если у меня есть тема, я хочу ее решить. Куклами, красками, палками, актерами, но я должен решить эту тему. Если в этом есть философия — она не сложнее, чем в труде пахара.

Какие у меня сегодня задачи? Какая программа-максимум? Я хочу понять, сам, без подсказки политиков или кричащей толпы, почему однажды в мире в XX веке родилась блуждающая война. Страшная боль для всего мира, которая снова и снова возвращается. Почему сегодня вдруг с земли исчезает целый город? Почему есть города, которые продолжают петь, спать, печь хлеб, детей растить — хотя это уже агония? Какая сила толкает нас к этому ужасу? Ведь мир видел ГУЛАГ, видел Освенцим, но он, оказывается, еще не видел, что такое муха на лице младенца в Сомали. Когда муха лезет в рот, в нос, и у ребенка нет сил смахнуть ее...

Трудно, конечно, говорить об этом с миром, увлеченным с византийской страстью политикой, когда политике уже нет места на земле, а просто надо всем вспомнить о тончайшем слое воздуха, который нам Бог подарил. Кислородный слой — беспартийный, у него нет границ.

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

Кислородный слой — беспартийный

Хотя политики — тоже люди, считает Резо Габриадзе

Я летом был в божественном месте — на Псковшине, там, где упал луч солнца, где Пушкин жил. Вы не представляете, какую радость это доставляет, как это прекрасно! Леса там по-прежнему не тронуты. Дворянин Пушкин спас свою усадьбу, как и дворянин Толстой. Но таких мест все меньше и меньше, и сколько знаменитых дворян мы можем в мире набрать? Ну, человек сто. И что же они могут сделать? Пушкин в Сибири не был, там декабристы были, тоже дворяне, но нам сказали, что они неправильно поступили, подняв свой бунт против царя, — и вот за Уралом горит газовый факел, равный выхлопным газам автомобилей во всем мире.

— В каждом политике сидит потенциальный диктатор. Но говорят, что все режиссеры — диктаторы?

— Нет, это устаревшая идея, и она очень вредна искусству. Я в этом убедился на примерах Питера Брука, Мориса Бежара — я был у них на репетициях, они совершенно не диктаторы, они друзья актерам, ни в коем случае не враги. А у нас надо обязательно ругаться матом, оскорблять, каждому что-то строить из себя... Тоталитарное общество в каждом из нас сидит. И во мне тоже. Но все-таки я не могу сказать человеку: «Иди сюда — и пойдешь туда!» Я могу долго объяснять ему, что хорошо будет, если он подумает вот об этом, и мне кажется, что если бы он пришел сюда, а потом пошел туда... а потом спрашиваю: «А как вы думаете?» И наступает общее понимание задачи, и решение этой задачи, и счастье... Все это — и в нашей жизни. Все наши беды были от неумения и нежелания трудиться. Иногда — к нашему счастью. Например, при строительстве коммунизма — а то бы мы построили что-то ужасное. Но сейчас мы должны

строить другую жизнь. Не коммунизм, не капитализм, а просто хорошую, нормальную жизнь. Мы подошли не к строю, а, повторю, к кислородному слою, одинаковому для меня и для любого политика мира.

— В этом смысле всемогущий политик так же достоин жалости, как и маленький человек? Вы не испытываете, как Чаплин, ненависти к политикам?

— Нет, не испытываю.

— Кто они — режиссеры или куклы?

— Они вообще-то люди. Я видел много сошедших со сцены политиков — они глубоко несчастные люди: они зависят от капризов других политиков, а главное, от капризов своих жен и детей, так что мы должны взывать не к ним, а к их семьям... Вот вечер. Господин политик пришел домой, снял брюки, сорочку, сел усталый на диван, жена включила телевизор, он отмахнулся, ушел мрачный в другую комнату. Тут жена или дочь должны его обнять и опять усидеть к телевизору: «Посмотри, папа, происходит такой ужас в Югославии, в Чечне, в Грузии. Папа, вот бомбы, вот plutonium кто-то украл. Папа, это же для меня катастрофа, ведь я должна как-то жить на этом свете!» Простите мою наивность, но иногда наивные формы — и не только в искусстве — гораздо сильнее работают.

— Вы помните, что такое вставочка?

— Нет.

— Это деревянная палочка, куда перышко железное вставляется, потом макеается в непроливашку фаянсовую с лиловыми чернилами... Вам не кажется, что сегодня не только в школе, а в политике и вообще в жизни чистописанье исчезает?

— Совсем оно никуда не исчезает, и это не катастрофа. Может, это было в нашем детстве

просто от бедности. Я такой вставочкой и сегодня рисую, до сих пор. Хотя и компьютеры великолепная штука.

— И все-таки Тарковский (не Андрей, а его отец, поэт) писал: «Наблюдать умирание ремесел — все равно что себя хоронить». Он сказал это как профессионал, как ремесленник в высоком смысле.

— Я разделяю это его чувство. Но это неизбежно. То, что умирает обувь, — нормально. Грустно, что вымирают сапожники, умеющие ее чинить. Я недавно так обрадовался, когда в Москве, на Садовом кольце, увидел вывеску: «Всевозможный ремонт обуви». Это очень редко: набойки, латки, прошва. На Западе считают: чем туфли старше, тем они красивее, солиднее становятся. Мы выбрасываем старые вещи и отказываемся вообще от многого «старого» в жизни, опять же по незнанию эстетики.

— И последнее — имеющее отношение и к искусству, и к политике. Игра — мы сталкиваемся с нею слышь и рядом — какое она место занимает в жизни? Как далеко ей можно продолжаться?

— До тех пределов, пока это не приносит вред природе.

— Это можно уловить?

— А вот это самое трудное. Есть политики или художники, которые злоупотребляют игрой, подкидывают, допустим, публике образ нигилиста или супермена. Создать в жизни вот такую модель — страшно. Стать моделью — еще страшнее.

Пушкин, Ван Гог, Достоевский, Александр Дюма — они все были в какой-то степени игроками. Но я люблю их всех за то, что они об этом знали и старались не заигрывать. И самый обожаемый мною человек, украшение нашего мира — это Ганди. Боже, каким он был красивым! Как он ходил, как здоровался; его руки, его глаза, его улыбка — это идеальная красота. Кому-то, наверное, казалось, что и он играет. Но это высшая, божественная игра, вызывающая во мне абсолютный восторг...

Беседовал Михаил ПОЗДНЯЕВ